Елена Алексиева

Мадам Мисима

Монодрама

Перевод с болгарского Валентины Ярмилко

Роль мадам Мисимы исполняется мужчиной в духе традицион­ного японского театра “Кабуки”.

Тюремная камера. Раннее утро, рассвет. В глубине сцены — вы­сокое узкое окно, забранное решеткой. У одной стены — нары. В углу камеры — помойное ведро вместо унитаза. Радиоточка. Небольшой сундук, который используется как столик. На сте­не — доска с гвоздями, на которых висит одежда.

На нарах спит человек, укутавшись с головой.

Из радиоточки раздается музыка — популярная японская песня, веселая, может, — эстрадная. Поет женщина.

Человек на нарах просыпается. Потягивается. Отбрасывает одеяло. Садится в постели. Видйо, что это мужчина. Он сидит на нарах в майке и трусах.

Песня продолжает греметь.

Мужчина встает и идет к ведру. Становится спиной к залу. Мо­чится. Делает несколько шагов по камере. Достает из сундука кусок зеркала и неодобрительно себя рассматривает. Достает разные туалетные принадлежности и косметику. Начинает гри-

© Елена Алексиева, 2014 © Валентина Ярмилко. Перевод, 2016

Редакция выражает благодарность Елене Алексиевой за любезное разреше­ние безвозмездно опубликовать пьесу на страницах журнала.



мироваться. Сначала наносит на лицо белила. Затем рисует брови, глаза, губы и т. д., пока его лицо не превращается в жен­ское.

Меж тем песня закончилась, но мужчина продолжает ее напе­вать все время, пока гримируется.

Затем укладывает на место косметику и грим и снимает с гвоздя одежду. Начинает одеваться. Надевает нижнее и верхнее кимо­но. Подпоясывается. Натягивает белые носки. С одной сторо­ны, его перевоплощение выглядит как случайная импровиза­ция с использованием подручных материалов, но с другой, все происходит так быстро и умело, что в это перевоплощение ве­ришь.

Из радиоточки вдруг снова гремит та же песня и замолкает лишь тогда, когда мужчина окончательно превращается в жен­щину. Покончив с одеванием, женщина ложится на нары, скре­стив ноги и заложив руки за голову. Вскоре раздаются шаги. Женщина приподнимается, внимательно прислушивается. В замке поворачивается ключ, скрип тяжелой двери. Кто-то вхо­дит в камеру.

Ах, господин следователь. Я не ждала вас так скоро. В сущно­сти, я уже никого не ждала, после того как вчера прогнала официально назначенного мне адвоката. Вы уже слышали об этом? Не удивляюсь. Такой противный старик. Но он сам ви­новат в том, что я его выгнала. Постоянно досаждал мне сво­им нытьем о гонораре. Скулил, что дело слишком сложное. Что оно затянется. Что официально ему заплатят столько, что это не покроет даже его личных расходов. Он даже пы­тался хватать меня за руки и, нагло глядя в глаза, намекать, что при известном содействии с моей стороны — при извест­ной благосклонности, как он выразился, — он мог бы меня спа­сти.

Вы только представьте себе!

Спасти меня! Меня! {Смеется.)

На протяжении всей пьесы смех героини отрывист, груб, гро­мок, типично мужской. Может быть использован для ритмиза­ции. Это — характерный смех Мисимы, его “марка”.

Ах, простите меня, господин следователь! Я занимаю вас всякими глупостями, вместо того чтобы встретить — как по­добает — человека вашего ранга. К сожалению, мои хорошие манеры и воспитание остались за стенами этой камеры, как и все остальное. Я сразу решила не брать с собой ничего, кро­ме самого необходимого женщине в моей ситуации. Женщи­не, жизнь которой сейчас и впредь будет сведена только к физическому существованию. Поэтому я оставила все свое

\*4

прошлое там, за решеткой. Оно мне уже не принадлежит. В нем нет ничего особенного, ничего, что представляло бы ин­терес для кого-либо, кроме меня самой. А вы хотите судить меня за это.

Ну вот, снова я за свое.

Я уже предчувствую, что вы на меня рассердитесь (здоро­во рассердитесь) и больше ко мне не придете. Моя грубость непростительна. Но я прошу, умоляю вас не наказывать меня столь жестоко. Оставьте жестокость суду, а вы по-прежнему приходите ко мне. Делайте свое дело. Собирайте ваши про­клятые доказательства. Задавайте вопросы. Наблюдайте за мной.

О, я так люблю, чтобы за мной наблюдали, господин сле­дователь! Обожаю чувствовать на себе чужие взгляды — хо­лодные, смущающие, безжалостные — даже здесь, в этом по­лумраке.

Прошу вас, присаживайтесь, если найдете куда. Нет, нет — не сводите с меня глаз. Я пригласила бы вас присесть рядом, на нарах, но так нам будет неудобно. Мы тогда не смо­жем хорошо видеть друг друга, так как будем сидеть слишком близко. Можем даже невольно коснуться друг друга, что было бы еще ужасней. Поэтому единственное, что я могу вам пред­ложить, — сесть на помойное ведро. К сожалению, с утра над­зиратель еще его не выносил, но, на ваше счастье, я уже не­сколько дней не ходила “по-большому”. Что поделаешь — у меня всегда был слишком чувствительный желудок, да и нельзя сказать, чтоб тюремная еда была мне по вкусу.

Там, за ведром — кусок фанеры. Положите его на ведро, чтобы не воняло. И спокойно садитесь. Не волнуйтесь, фане­ра вас выдержит. Только не делайте лишних телодвижений, чтоб чего не случилось.

Ну что поделаешь — у меня нет стула. Мне не оставили да­же куска татами, чтобы мы могли по-человечески сесть на не­го, лицом друг к другу.

В вашей тюрьме очень строгие порядки, господин следо­ватель. Строгие и скучные. Здесь не происходит ничего ин­тересного. Человек просто медленно загнивает от скуки. Словно приговор вступает в силу еще до оглашения.

А если человек невиновен? (Смеется,. Пауза.)

Он знает, что я богата. Этот старикашка, назначенный за­щитник. Ну, может, не богата, но достаточно состоятельна. Да ведь это и не тайна. Это всем известно. Я никогда не скры­вала своих денег. И не пряталась за ними. И уж наверняка не настолько тупа, чтобы верить, что за эти деньги смогу купить себе свободу. Просто потому, что я никогда ее не теряла.

Я и здесь настолько же свободна, господин следователь, как где бы то ни было. Единственная разница в том, что эта свобода уже мне ни к чему. Она — выжженная пустыня. Доб­рокачественная опухоль, с которой некомфортно жить, но от которой нет ни малейшей надежды умереть. Вот такая она, моя свобода. И деньги здесь ни при чем.

Но назначенный адвокат думал только о них. Он хватал меня за руку своими коротенькими пожелтевшими пальца­ми, уверяя, что может меня спасти. Говорил, что у него бога­тый опыт. Что он близок с судьей. “Но вы, мадам, — говорил он, — должны меня мотивировать. Чтобы я все сделал как на­до. Чтобы мог послужить справедливости”. И полз пальцами вверх по моей ладони, к кисти, словно хотел измерить мне пульс.

Верите, господин следователь, это возбуждало и одновре­менно отвращало меня... Я возбуждалась от отвращения, ко­торое испытывала от прикосновения его пальцев к моей кис­ти. Возбуждалась от его сухой бескровной кожи, из которой годы выщипали редкие волоски — один за другим. От его зло­вонного дыхания, которым он обдавал меня, обещая спасти. И это возбуждение не покидало меня еще несколько часов. (Пауза.)

Лежа здесь, лишенная возможности заняться чем-нибудь другим, я думала о вас, господин следователь. О вашем таком молодом, просто детском лице, так резко контрастирующем с грузом вашей ответственности. Ваша власть над несчастны­ми, вроде меня, все еще пугает вас даже больше, нежели нас, ваших подопечных. Не так ли? И эта наивная суровость во взгляде, которую вы, вероятно, тайно репетируете перед зеркалом... С вашего позволения, дам вам один бесплатный профессиональный совет: не переигрывайте, господин сле­дователь. Вы добиваетесь противоположного эффекта — ста­новитесь похожи на капризного ребенка при виде неаппе­титного завтрака, а не на борца с преступностью.

Сколько вам лет? Двадцать пять? Двадцать восемь? Я не дала бы вам и двадцати.

Нет, я над вами не издеваюсь, наоборот. Я обожаю моло­дость. Желаю ее, стремлюсь к ней, завидую ей и ревную. В молодости более всего я ценю ее страсть к уничтожению. Ме­ня всегда интересовало, что же такое молодость? И почему то, что в молодости красиво и неудержимо привлекает, в ста­рости отталкивает и смердит пороком. В молодости я боль­ше всего люблю ее плоть и кровь, удивительное единство ду­ха и тела. Потом все безвозвратно исчезает, задолго до того, как смерть все это окончательно ликвидирует.

Говорят, человек молод до тех пор, пока молод его дух. Глупости. Дух стареет первым. В конце только тело имеет значение. Иначе косметическая индустрия просто не сущест­вовала бы. Знаете, значительная часть моей жизни неразрыв­но связана с косметической индустрией. (Смеется.)

Я уже не молода, господин следователь. Впрочем, вам это известно. Вы знаете, когда я родилась и где, кто мои родите­ли и под каким именем я значусь в муниципальных докумен­тах. Но до старости мне еще далеко, как совершенно верно заметил мой назначенный защитник. Для него я все еще ла­комый кусочек, с хорошим финансовым обеспечением, к то- муже попавший в серьезную переделку, — значит, мне, по его мнению, особо выбирать не приходится.

Он, бедолага, именно на это и рассчитывает. Этой ночью он даже посетил меня во сне, сделал последнюю попытку — а вдруг я передумаю. (Пауза.)

Вы женаты? Да, я помню, что уже спрашивала об этом, вот только ответа не помню. Впрочем, можете не отвечать. Я сама угадаю. Позвольте мне вас придумать. Позвольте дать волю моему воображению. Все равно здесь время тянется так медленно, и заполнить его совершенно нечем. Да и вы не слишком часто меня посещаете. И вынуждаете бесконечно, отчаянно вас ждать. Вероятно, вам нравится заставлять меня страдать. Не скрою, мне это тоже нравится. (Пауза.)

Ну конечно, вы женаты. Недавно, сравнительно недавно. Не более двух лет. Она младше вас. Хрупкая, скорее всего, изящная, но не обязательно красивая. Родом из провинции. Женщина со вкусом, но ее выдают манеры. Она отлично за­ботится о вашем доме. И не слишком интересуется осталь­ным. Тем не менее, порой ее рассуждения вас удивляют. Она не глупа. С прекрасной интуицией. И отнюдь не настолько склонна к компромиссам, как может показаться. Вы допускае­те, что она счастлива, но не смеете спросить ее об этом. Да и она редко пользуется такими громкими словами, утверждая, что просто их не понимает. Предпочитает изъясняться как можно проще, а лучше — молчать. И в этом вы тоже усматри­ваете скрытый интеллект. Мысль о нем вам льстит и отчасти пугает. Вы отдаете себе отчет, что вы ее не знаете и, может, не узнаете никогда. Но это вас не смущает. Она знает, что вам нужно. Знает, как вам понравиться. И умеет о вас заботиться.

А что вам еще нужно? Вы женились по любви, но не увере­ны, любили ли вы ее когда-нибудь. Вы у нее первый. В посте­ли вы стараетесь казаться более умелым, чем на самом деле. По крайней мере, так было вначале. И самым серьезным об­разом намереваетесь кое-чему ее обучить.

Вы, невежда. Она покорна. Послушно принимает ваши наставления. И все же у вас создалось впечатление, что она недостаточно старается. Но вы снисходительны. Вам спе­шить некуда. Главное, чтобы ей было хорошо. Потому что ей и в самом деле хорошо, в этом у вас нет ни малейших сомне­ний. А потом... Потом появится первый ребенок, и удоволь­ствие отойдет на задний план. Ваша жизнь станет более функциональной. Повседневность заполнится тысячей мел­ких обязанностей. Вы поймете, что значит быть отцом, гла­вой семьи. Параллельно будете делать карьеру. Профессио­нально совершенствоваться. Кто знает, может, в один прекрасный день вы даже проснетесь директором этой тюрь­мы. (Смеется.)

Из радиоточки гремит мелодия — может, та же, может, другая,

но такая же жизнерадостная. И быстро стихает.

Зачем кричать, господин следователь? Я не хотела вас обидеть. И разве я виновата, что вся ваша личная жизнь уме­щается в нескольких кратких предложениях, написанных на вашем лице. Вы тоже не виноваты. Просто вы еще слишком молоды. Посмотрите на себя. Щеки, как у младенца. Навер­ное, вы даже бреетесь не каждый день. (Пауза.)

Да. Хорошо. Поняла. Умолкаю. Я только хотела вам пока­зать, что вы и я — из разных миров. Вы, вероятно, испыты­ваете ко мне презрение, в лучшем случае — легкое пренебре­жение или любопытство. Задаете мне вопросы, ответы на которые вам известны заранее. Записываете мои слова, но не слышите их. Торопитесь отправить меня на виселицу, чтобы скорее вернуться домой. Считаете, что я играю какую- то роль, в то время как я говорю вам сущую правду.

Но ведь вы, господин следователь, не готовы принять эту правду. Вы доросли лишь до фактов, и этим ваше представле­ние о мире исчерпывается. Не верите мне, даже когда я чисто­сердечно говорю, что мне вас жаль. Поверьте, господин следо­ватель, вас ждет провал, если вы не позволите мне вам помочь. Не только здесь и сейчас. Провал во всем — и окончательный. Ваш провал будет так страшен, что вы не найдете в себе сил ис­купить собственную смерть. И тогда, наконец, вы поймете, что сделал он и почему. Но будет поздно. Не для меня, госпо­дин следователь. Для вас будет поздно. (Из-под подушки на на­рах достает стопку бумаг. Нервно, торопливо просматривает их. И бросает на пол.) Я этого не подпишу. Ни за что. Нужно быть сумасшедшим, чтобы надеяться, что я подпишу, ведь здесь нет ни единого моего слова. Да я просто не понимаю, о чем здесь идет речь. Не понимаю, что значат ваши слова. (Пауза.)

Это — ваши слова. Ваш язык. Почему, в таком случае я должна под этим подписываться? Подпишитесь сами. (Пауза.)

Это все не имеет со мной ничего общего. Для вас это по­казания, а для меня — история. Вы улавливаете разницу?

Вам еще учиться и учиться, юноша. Заберите ваш черно­вик и начните сначала. И не говорите мне о вине. Вы ничего не знаете о моей вине. Пишите только о том, что вам доступ­но. О простеньких конкретных вещах, которые вы видели своими глазами. Ограничьтесь описанием, не углубляясь в объяснения. И не заботьтесь об эффектном начале — куда важнее эффектный финал. (Смеется.)

На сегодня достаточно, господин следователь. А теперь оставьте меня одну.

* \* \*

Камера. Ночь. Из радиоточки звучит тихая инструментальная традиционная японская музыка. Мадам Мисима сидит на полу. Картинка размыта, словно во сне.

Сегодня снова приходил назначенный адвокат. От этого че­ловека просто невозможно отделаться. Я отказалась с ним разговаривать, но, он, очевидно, дал взятку, потому что над­зиратель привел его прямо ко мне в камеру, невзирая на мои возражения. И неусыпно наблюдал за нами в глазок. Я виде­ла, как глаз надзирателя движется в глазке, как жестоко и без­различно танцует за стеклом, словно око демона, не упуская

\*

меня из вида.

А в это время назначенный адвокат говорил без умолку. Он сказал, что, проанализировав в очередной раз все факты по моему делу и составив собственное мнение о моей лично­сти, он придумал новую линию защиты. Новую стратегию, абсолютно гарантирующую мое освобождение от ответст­венности.

Я сухо ответила, что предельно ясно заявила о своем не­желании его видеть. Что не нуждаюсь в защите, так как не со­вершала преступлений. И если суд не в состоянии это по­нять, тем хуже для суда.

“Я именно это имею в виду, — невозмутимо продолжил ад­вокат. — Я рад, что обстоятельства совершенно точно отвеча­ют моим намерениям. Ваши слова недвусмысленно говорят о том, как легко мне будет изложить тезис о вашей невменяемости, думал выдвинуть тезис о вашей временной невменяемости, но теперь убедился, что могу добиваться признания устойчивого расстройства психики. (Пауза.)

Я еще не сошла с ума, господин следователь. (Пауза.) Или, может быть, вы так не считаете? В таком случае скажите, что именно в моих действиях наталкивает вас на мысль о моем су­масшествии. Или я кажусь вам слишком слабой, чтобы под­нять меч и отсечь голову смертнику? Отсечь голову мужчине, которого я любила, чтобы спасти его от мучений? Но вот че­го не знаете ни вы, ни назначенный адвокат, так это, что от мучений можно спасти лишь того, кто сам избрал смерть. Но не того, кто остался жить.

Мисима был избранником смерти. С самого рождения он попал в ее почетную квоту. А я оказалась всего лишь исполни­телем этого великого плана.

С рождения я была его кайсаку1. Обезглавителем.

Милостивый ангел смерти, избавитель тех, чьи тело и дух

2

в момент сэппуку сливаются настолько, что для их разделе­ния требуется рука человека.

Я — служительница смерти, господин следователь. И поэтому бессмертна. У каждого, избравшего героический конец с по­мощью сэппуку, есть свой кайсаку. Он сильней брата и неж­ней сестры, заботливей матери и строже отца. В миг, когда он вздымает меч, он перестает быть человеком и становится собственной тенью. Жизнь его теряет смысл и цену. Он ни­когда не станет героем. Никто не в силах спасти его и вер­нуть ему человеческий облик. Только дух умершего находит в нем убежище. Потому что дух умершего человека, господин следователь, продолжает жить, в отличие от духа живущего.

А вы делаете из меня сумасшедшую. Смеетесь мне в лицо. Суете в глазок чей-то глаз, который круглосуточно за мной наблюдает.

Боитесь меня. Хотите осудить меня за самоубийство само­убийцы. Так осудите его, если сможете! Соберите по крупин­ке его пепел, поднимите из могилы и осудите! Что? Звучит как бред сумасшедшего? А почему тогда вам не кажется бре­дом суд надо мной? (Роется в листах бумаги на^полу, находит

1. Кайсаку — ассистент, присутствующий при ритуале совершения сеппуку, ударом меча он прекращает мучения убивающего себя самурая. (Здесь и да­лее - прим. перев.)

2. Сэппуку — ритуальное самоубийство. В философии дзен-буддизма, фор­мировавшей мировоззрение самураев, центром двигательной активности человека и местоположением его души считался живот (по-японски “ха­ра”). Поэтому вскрытие живота (харакири) при сэппуку осуществлялось для того, чтобы показать чистоту своих помыслов. Это было последней воз­можностью оправдать себя перед небом и людьми.

один, читает,.) Заключение аутопсии гласит: “Рана в области живота поверхностная, почти царапина. Острие даже не проби­ло стенку брюшной полости. Жертва погибла в результате вто­рого удара — мечом, обезглавившим ее и вызвавшим мгновен­ную смерть”. (Пауза.)

Это ложь. Ваши патологоанатомы — шайка невежествен­ных мерзавцев. Да ведь я своими глазами видела, как острие вошло в брюшную полость. Я видела глубокий чистый раз­рез, сантиметров в десять длиной, из которого, как новорож­денный, вывалились его кишки. Я видела его лицо, поблед­невшее, как мел, чистое, как белый лист бумаги, прозрачное, как летнее утро на горе Фудзи. Без губ, без глаз, без надежды, без сожаления. Я видела, как смерть поставила свою печать на это лицо, нежно, как поцелуй. И только тогда взмахнула мечом. (Тихо.) Это было прекрасное сэппуку. Лучшее из всех, что можно себе представить. (Пауза.)

Когда-то он написал рассказ “Патриотизм”, господин сле­дователь. В нем молодой поручик Такэяма, стоя перед выбо­ром между верностью своим друзьям по оружию и верностью императору, совершает ритуальное самоубийство на глазах у своей красавицы-супруги. Они предаются любви в последний раз, а потом она помогает ему уйти из жизни и остается с ним до конца.

Но как он описывает сэппуку! Эта сдержанная поэзия те­ла, от которой у тебя перехватывает горло. Спектакль боли как последней связующей нити с жизнью! И реки крови! Ах! Реки крови! (Смеется.)

Все это напоминает мне о вас, господин следователь. Я не перестаю представлять себе вас. Вашу молодость. И ваше те­ло, которое под этой одеждой кричит об обожании, а вы его не слышите. А когда услышите, уже придет старость. И тогда все это потеряет смысл. Так что, если вы думаете что-либо де­лать в этом смысле, то сейчас самое время. Используйте ме­ня. Я в ваших руках.

Вы и ваша малышка... Как там ее?.. Но ее нервы этого не выдержат. Она будет кричать, будет плакать. И непременно попытается вам помешать. Чтобы спасти. И все испортит.

Поэтому вам нужна я. Я никогда не теряю самообладания. Кроме того, знаю ритуал до мельчайших тонкостей. Знаю, когда и что необходимо. К тому же я изысканный зритель. Могу по достоинству оценить происходящее. И получаю ни с чем не сравнимое удовольствие. (Смеется.)

Ваша смерть не будет напрасной, господин следователь. Если рядом с вами буду я. И в конце, когда все повиснет на во­лоске, я буду там и обо всем позабочусь. Это вас не искушает?

Вы занимаетесь геройской смертью, а убирает за вами кто-то другой. Вы одним прыжком запрыгиваете в Историю, а кому- то другому до конца его жизни снятся дерьмо и кровь.

Хорошая сделка? Или нет? (Пауза.)

Ну, ладно. Судя по вашей реакции, вы человек чувстви­тельный. Не расстраивайтесь. Не обязательно все должно быть так уж гнусно. Гнусное наступает в последний момент, когда ничего уже сделать нельзя, но это ненадолго. А до тех пор можете чувствовать себя героем.

Если дерьмо вас смущает, я научу вас одному трюку: подло­жите побольше ваты. И вам удастся избежать конфуза. Рука ваша не дрогнет, и потом в смертном акте не напишут, что вы только поцарапались.

Всему этому, разумеется, научил меня он. Всему самому важному, что я знаю о жизни, научил меня он. Главное, это по­стоянно прикрывать срам подручными средствами и космети­кой. Не изменять себе, настоящему. Ежедневно накачивать мускулы — не для того, чтобы превратить свое тело в храм, а в надежде изгнать раз и навсегда того хилого, потерянного ре­бенка, который прячется в храме и не желает оттуда уходить.

Но ведь и сердце тоже мускул, господин следователь. Только не видимый снаружи. И в один прекрасный день, пе­рекачавшись, можешь вывести его из строя. Ты тренировал­ся жить за десятерых, а твое сердце могло жить только для одного. (Пауза.)

Сменить прозу жизни на поэзию смерти. Красиво, не правда ли? И романтично. Вот только сначала нужно нау­читься читать. (Смеется.)

Вы умеете читать, господин следователь? То, что писать вы умеете, я уже поняла. Ваша писанина безграмотна, лише­на чувства и проницательности. Вы не чувствуете слов и стоящей за ними правды. Но все же это какое-никакое нача­ло. (Роется в бумагах на полу. Поднимает несколько. Перечитыва­ет.) Снова двойка за домашнее задание, господин сочини­тель. Хоть то, что вы здесь написали, в общих чертах верно. Но стиль по-прежнему отвратителен, даже хуже, чем в про­шлый раз. И как вы это назвали? “Добровольные призна­ния”? Ха! Ну что за заглавие? Перечитайте классиков! Не важно, кого именно, любого, на выбор — все больше пользы! Вы спутали жанры! Я рассказываю вам драму, а вы пишете со­чинение. (Пауза.)

Мне жаль вас, господин следователь. Да, я отлично пом­ню, на какое время назначено судебное заседание. (Пауза.)

Гляньте, уже светает. А я, на вашем месте, начала бы вот так.

\* \* \*

Дверь камеры медленно со скрипом открывается. Невидимые руки бросают кого-то внутрь, потом дверь закрывается, слы­шен поворот ключа. Мадам Мисима некоторое время лежит на полу. Ее кимоно смято и порвано в одном месте. Ноги босые. Грим гротескно размазан по лицу. На лице, у рта, на руках — следы крови и побоев.

Она с трудом поднимается на ноги и добирается до сундука. Он довольно далеко от нар. Достает свои косметические принад­лежности и осколок зеркала. Внимательно рассматривает себя, прикасаясь к ранам на лице. Открывает рот и рассматривает зу­бы. С трудом стоит на ногах. Оглядывается по сторонам, слов­но в поисках стула. Направляется в угол камеры и подтягивает помойное ведро. Кладет на него сверху кусок фанеры. Совсем тихо, еле слышно, напевает сквозь зубы мелодию из первой сцены. Садится, преодолевая боль.

Осторожно, прерывая напев болезненными вздохами, начина­ет приводить в порядок грим. На это уходит довольно много времени. Покончив с этим, с трудом встает, плетется к нарам и садится на них.

Из радиоточки раздаются хрипы и треск.

Примерно до середины этой сцены мадам Мисима разговарива­ет с трудом, шепелявя и чуть коверкая слова.

А, господин следователь. Вы снова здесь. Я не слышала, как вы вошли. Или вы и не уходили?

Вы так добросовестны, что у вас не остается времени на отдых. Напомните мне, чтобы я написала об этом вашему на­чальству. Такие усердные сотрудники — редкость в наши дни. Вижу по вашим глазам, что вы надеетесь на повышение. Ну что ж, ждать осталось недолго. Я об этом позабочусь. Кое-ка­кие связи у меня остались. Мое имя по-прежнему кое-что зна­чит, даже для тех, для кого до недавнего времени оно не зна­чило ничего. (Пауза.)

Как вы меня находите? Ваши люди постарались на славу. Три выбитых зуба и один сломанный. И два вырванных ног­тя — по одному на каждой руке. И электричество они тоже не экономят, когда идет речь о... Что вы сказали? Доброволь­ные признания. (Смеется.)

У вас бедное воображение. У вас и у вашего ведомства. А жизнь без воображения вообще ничего не стоит. Но вы еще молоды. Для вас еще не все потеряно. Ну ладно, расслабь­тесь. Что вы так напряглись? Только не говорите, что впер­вые видите, как обрабатывают подозреваемого. Хотите взглянуть вблизи? (Распахивает кимоно.) Подойдите побли­же, не бойтесь. (Пауза. Запахивается. Туго подпоясывается поя­сом. Смотрит на свои босые ноги.)

Вы и в самом деле слишком чувствительны. Вам стоит  
серьезно задуматься, подходит ли вам эта работа. Что по это-  
му поводу говорит ваша супруга? Или она довольна, что вы  
приносите зарплату, а как именно вы ее зарабатываете, ее не  
слишком интересует? (Ложится па пары. Тянет на себя одеяло.)  
Простите, но я должна немного отдохнуть. А вы не уходите.

Вы мне совершенно не мешаете. (Пауза.)

Как ваши писательские потуги? Смотрю, вы ничего мне  
не принесли почитать.

Да нет, я и не думала вас пришпоривать. Наверное, на-  
чальство и так вас торопит. Да и время не стоит 'на месте. До  
процесса осталось всего ничего. Вы приходите сюда еже-  
дневно, а что толку? Я играю по своим правилам, вы — по сво-  
им. Так мы ни к чему не придем.

Я пытаюсь вам помочь, но вы мне не позволяете. Мои по-  
пытки раскрыть вам глаза вы воспринимаете как легкомыс-  
лие. Ищите истину в фактах, а справедливость — в наказании.

Вы ведь сами не знаете, какая она — истина. И в чем справед-  
ливость. Когда-то где-то кто-то второпях что-то вам объяс-  
нил, да вы и это забыли. Остались лишь два слова, лишенные  
смысла. И вы стесняетесь даже произнести их вслух. (Пауза.)

Воля ваша. Сегодня у меня нет сил, чтобы настаивать. Ска-  
жите, бедный мой мальчик, как сделать вас счастливым, пока  
это все еще в моих силах. (Пауза.)

Поговорить о нем? Да ведь мы только о нем и говорим.

Разумеется, я его знала. Можно сказать, что всю свою  
жизнь я знала только его. Сначала была его сумасшедшая  
больная бабушка-самурай, укравшая его у матери просто так,  
от нечего делать. Потом — его мать, без которой он просто  
не мог дышать и которую носил на руках до самого конца. За-  
тем — его жена, которая тащила его на своем горбу целых две-  
надцать лет, а он в благодарность оставил ее вдовой с двумя  
маленькими детьми на руках. И, наконец, я. Его кайсаку. Лич-  
ная Ника Самофракийская, благодаря которой он смог выиг-  
рать битву с самим собой, причем так, что его собственная  
голова стала последней точкой в неразборчивой рукописи  
его жизни.

Почему он это сделал? Да по многим причинам. По-моему,  
потому, что у него было все. А когда у человека есть все, он

живет в постоянном страхе, как бы это все не потерять. Этот |

страх постоянно растет и мешает видеть, что там, за линией

страха, жизнь продолжается. Не поймите меня превратно.

Мисима не был трусом. Он был героем. Он превратил свой

страх в нечеловеческую отвагу, а это уже само по себе — под-

виг, достойный восхваления.

Он написал свои книги, везде побывал, все изведал, вос­пользовался всеми благами своей чудовищной славы, выпол­нил все взятые на себя обязательства, обеспечил своих близ­ких, простился с друзьями, не забыл и о врагах, пребывая на сцене так долго, что ему уже было безразлично, как его зри­тели проводят — аплодисментами или свистом.

Люди смотрят, но не понимают. Поэтому умирают с от­крытыми глазами. А у него в конце осталась только я. Потому что он решил умереть как герой, и я должна была ему в этом помочь.

И когда острие вошло в его обнаженный живот, клоунада, наконец, закончилась. Мы оба это поняли. Усилием воли он расслабил мускулы живота, чтобы лезвие легче вошло в его плоть, и нажал. Он столько лет к этому готовился. А я плот­нее сжала в ладонях рукоять меча, который он сам мне дал. И все. Остальное вы знаете. Вы видели фотографии, смотрели фильмы, слышали анекдоты, читали книги. (Пауза.)

Что? Не читали? (Смеется.) Я ведь велела вам читать клас­сиков, господин следователь. (Нарочно шепелявит.) Класси­ков! Классиков. (Смеется взахлеб\ до слез. Затем спокойнее.)

Ох, больно. Перестаньте. Смилуйтесь над своей жертвой. Я ведь вижу, что вы хороший мальчик. Вряд ли в ваши слу­жебные обязанности входит желать мне зла. Для вас это мо­жет быть средством, но не целью. Что такое несколько опле­ух и несколько выбитых зубов на пути к истине? И даже несколько сотен вольт во имя справедливости? Эх, господин следователь, вам еще учиться и учиться! Вы еще многих за­ставите страдать, прежде чем научитесь. (Пауза.)

Мисима был самым известным человеком в Японии! Мо-

<

жете себе это представить? Более известным, чем премьер- министр. И, может, даже известней, чем Император, хоть так говорить — святотатство. А сейчас он стал еще известней. Он всегда знал, как сделать себе рекламу.

В тот памятный день он обеспечил даже вертолеты япон­ского государственного телевидения NHK. Они кружили над площадью, на которой он собрал более тысячи солдат, чтобы произнести перед ними речь о верности Императору. Вот только вертолеты ревом моторов заглушали его, а солдаты — освистывали. И тогда я, глядя на все это из своего окна, поду­мала: “Реклама убивает. Не слава, а популярность. Не призна­тельность грядущих поколений. А эти телекамеры. Не книги, а газеты”.

Рев вертолетов заглушал его голос. Он стоял там, на тер­расе — маленький, жилистый и страшный. В безмерном отча­янье от того, что ему предстояло. Никто его не слушал — все

слушали вертолеты. И каждый в отдельности слушал себя. Свое собственное “у-у-у” и “а-а-а”. Свое “пошел вон отсюда, кретин!” и “уберите этого идиота!”. Площадную брань, кото­рую изрыгали их юные грубые солдатские глотки.

Но даже если бы они его слышали, это уже не имело зна­чения. Даже его собственные гвардейцы не понимали, что происходит. Только телекамеры продолжали работать. Мик­рофоны журналистов усиливали рев толпы. Император си­дел в своем дворце и ни о чем не подозревал, потому что им­ператор, это не человек, а принцип, он и не должен ни о чем подозревать. (Пауза.)

Эти слова вы где-то слышали, господин следователь? Вы не помните себя в этой толпе?

Позднее те, кто не прочел ни одной его книги, назвали его фашистом. Да, я знаю, что вы не употребляете подобных эпитетов, и весьма вам признательна за это. Но ведь и людей, ни на кого не похожих, тоже надо как-то называть. Впрочем, Мисима куда больше расстраивался, если его причисляли к интеллектуалам. (Смеется.) Но не обижался, когда его называ­ли клоуном или шутом.

А вы знаете, чем гений отличается от глупца? Гений пре­спокойно может себе позволить — и часто позволяет — быть сколько угодно глупым. Это ни в коей степени не мешает его гениальности. В то время как глупец никак не может быть од­новременно и гением. Потому что гениальность — это со­стояние духа, а глупость — злокачественное свойство харак­тера.

И поскольку Мисима был именно гением, в нем прекрас­но уживались и высокий ум, и глупая суетность. Уживались и даже находили общий язык. Его суетность была всеядной и ненасытной, так же, как и ум. Он не боялся выглядеть смеш­ным, потому что не находил в себе ничего смешного. И раз­влекался, будучи лишен чувства юмора. А развлекался он мно­го, хотя ему было не до развлечений, и ничто его не забавляло. Он воспринимал развлечения как долг, да и жизнь воспринимал так же. И самым прилежным образом выпол­нял то, что, как он думал, жизнь от него требует. А жизнь ни­чего не требовала. Однако Мисима, непревзойденный сти­лист, не понимал языка жизни. И в итоге они друг друга так и не поняли. (Пауза.)

Этот Мисима, господин следователь, был просто сплош­ное недоразумение. Анекдот, да и только! Ха! А вы знаете, что он совершенно не умел взглянуть на себя со стороны? Не имел ни малейшего представления о том, как его восприни

мают окружающие! Он придумывал разные вещи и сам в них верил. Под конец никто уже не воспринимал его всерьез.

А он взял и создал собственную гвардию! Представляете? Тетенокай, “Общество щита”. Самую маленькую армию в ми­ре, как он сам говорил. И самую духовную. Это была без мало­го сотня голобородых юнцов, которым он пошил форму и научил маршировать. С кем они должны были воевать? Это­го не знали и они сами. Они слепо пошли за ним, потому что он им нравился. Им нравилась придуманная им игра.

Они устраивали парады, как устраивают цирковые пред­ставления — с публикой и фанфарами. А он красовался в пер­вом ряду в белой форме, как какой-нибудь бог войны. Ну, на­стоящий генерал.

Вы спрашиваете, господин следователь, кто это все позво­лил? Спросите ваших начальников. Почему вы задаете во­просы только мне? Почему только мне подсовываете на под­пись какие-то выдуманные лично вами мои “чистосердечные признания”?

Мисима и его духовная армия! Его литературный талант иссякал, и он готовился к войне. И хоть он обучал своих ка­детов всем тонкостям военного искусства, он прекрасно знал, что настоящий враг притаился внутри его самого. Ми­сима давно готовился сразить этого врага. “Общество щита” было ему нужно только как предлог. К тому же он желал, что­бы все происходило на публике и в декорациях. Потому что так ему казалось красивее. Подлиннее. И потому что он отка­зывался жить иначе. (Пауза.)

Но, несмотря на это, я его любила. Мне кажется, мы с ним всегда были любовниками. Во всяком случае, я не помню вре­мени, когда не были. Он меня тоже любил, хоть ни разу не произнес этого вслух. Он приходил и уходил. Делал мне по­дарки. Ходил и к другим женщинам, но я на него не серди­лась. Я'ведь тоже ходила к другим.

Мир слишком мал, господин следователь. В конце концов оказывается, что человек не выбирает, кого ему любить, он может только выбирать, любить ли.

Мы встречались в укромных комнатушках в барах Гинзы. Устраивали встречи в гримерных после представлений его пьес. Снимали гостиничные номера в провинции, подальше от Токио. Он любил демонстрировать мне свое обнаженное тело, которое я изучила лучше, чем свое собственное. Любил играть передо мной мускулами, которые наращивал и ваял жестокими тренировками. Потом развязывал на мне пурпур­ное оби, которое сам мне подарил, расстилал его на полу и опускался на него на колени.

“Смотри, — говорил он мне, — это кровь. Представь себе, что это — кровь, а это — тело, из которого она льется. Тело состоит из слов, а кровь — это действие. И когда смерть на­ступает медленно, действие преисполняется смысла, а слова становятся мирами”.

Потом мы любили друг друга в реке крови. Он кончал пер­вым, и на гребне речной волны выступала его пена. А я кон­чала позже, когда он уже уходил. В одиночестве. (Смеется.)

Что поделаешь, господин следователь. У меня всегда был катастрофический вкус в отношении мужчин. Что ж удиви­тельного в том, что в конце концов я оказалась здесь. (Пауза.)

Своим упорством и беспомощностью вы ужасно напоми­наете мне его. К сожалению, во время обыска у меня в доме, полицейские конфисковали мое пурпурное оби. И сейчас от рек крови остались лишь несколько жалких капель, которые ваши палачи в камере пыток сегодня с таким трудом выбили из моего жалкого тела.

* \* \*

Все та же обстановка. Мадам Мисима стоит в углу лицом к стене и мочится в помойное ведро, опираясь одной рукой о сте­ну. Вторая рука — в складках кимоно. Ее кимоно закрывает угол, как ширма. Это уже другое, более официальное, куда более рос­кошное кимоно, чем то, что было на ней раньше. Не поворачи­ваясь, она начинает говорить, когда струя еще течет в помой­ное ведро.

Мне запретили с вами разговаривать. Точнее, разрешили не разговаривать, если я не хочу. Напомнили мне о том, что у меня есть право на молчание. (Приводит в порядок свою одежду, затягивает потуже оби, закрывает ведро фанерой, поворачивается лицом к залу.)

А у вас, господин следователь, есть право сослаться на мое молчание, если ваше начальство спросит, почему расследова­ние не продвигается.

Как это приятно — облегчиться. Облегчить свое тело, свою совесть. Все. Вспомнить свое первоначальное состоя­ние, когда ты слишком мал, чтобы отвечать за что бы то ни было. Так начинается любое перерождение.

Сегодня я чувствую себя именно так: облегченной от лю-

бой ответственности. Готовой начать новую жизнь, в кото-

рой не будет ничего нового. (Усаживается на пол. Церемониаль-

по разглаживает руками и располагает складки кимоно вокруг

своего тела. Продолжая говорить, разыгрывает жестами вообра-

жаемую чайную церемонию.)

Сегодня утром меня вновь посетил назначенный адвокат. Принес мне чистую одежду и мыло — я приняла все это с бла­годарностью. В конце концов, его постоянство заслуживает известного уважения. Да и его навязчивость уже не произво­дит на меня столь отталкивающего впечатления.

Кроме того, с ним был еще один человек. Психиатр. Щуп­лый человек с усталым лицом и странной улыбкой, пример­но того же возраста, что и адвокат. Психиатр обработал мои раны, не переставая громко возмущаться жестокостью моих мучителей. Я ему не стала говорить, что раны уже не болят. Это так приятно, когда к тебе прикасается тот, кто ничего не хочет у тебя отнять.

Адвокат представил психиатра: профессора Ашоку. Ска­зал, что он — великое светило в своей области, а также экс­перт, к услугам которого он нередко прибегает. Со мной он держался очень мило, но достаточно твердо.

В итоге, господин следователь, может оказаться, что этот

противный старый официальный защитник— настоящий мужчина. Он сказал, что профессор Ашока прибыл, чтобы за­дать мне несколько вопросов. И что в моих интересах отве­чать точно и исчерпывающе ясно. Не забывая о том, что цель этих вопросов — установление моей невиновности. “Не­вменяемости”, — кротко поправил его профессор. “Не имеет значения, — ответил адвокат. — В данном случае все равно что мы установим”.

И они кивнули друг другу так, словно между ними сущест­вовал какой-то божественный заговор. А потом мы с профес­сором пообщались самым приятным образом. Более трех ча­сов он подробно расспрашивал меня о моей жизни и так усердно записывал каждое мое слово, что исписал целую тет­радь.

Он предложил мне тест Роршаха, а я, чтоб его не огор­чать, сделала вид, что вижу эти пятна впервые. А когда он ме­ня расспрашивал, что именно я вижу в том или ином случае, я рисовала ему такие фантастические картины, что у него разгорались глаза, и от волнения в руке начинал дрожать ка­рандаш. Еще он спросил, помню ли я, из какой груди чаще ме­ня кормила мать, и видела ли я своего отца обнаженным в возрасте до трех лет. Я отца никогда в жизни не видела, но не сказала об этом, чтобы не разочаровывать профессора Ашо­ку. К тому же его вопросы доставили мне такое огромное удо­вольствие! Я призналась, что боюсь лошадей, а от звуков ся- мисэна меня бросает в пот. Под конец он меня спросил, есть ли у меня в роду самоубийцы, гомосексуалисты, алкоголики или осужденные за тяжкие государственные преступления.

Как можно, господин профессор, ответила ему я. Мой пра-  
прапрадед был великим самураем. Думаю, этим я его оконча-  
тельно покорила.

Затем они оба с адвокатом о чем-то долго шептались у две-  
ри, пока я невозмутимо приводила свой туалет в порядок. По-  
совещавшись, они вернулись ко мне, и адвокат пожал мне ру-  
ку. “Поздравляю вас, мадам, — сказал он. — Теперь вы  
официально освидетельствованы. Профессор Ашока подго-  
товит необходимый документ и передаст его в суд. Это озна-  
чает, что все ваши заявления и показания, сделанные ранее,  
или будущие, будут считаться ничтожными и лишенными  
юридической силы, то есть не будут иметь доказательствен-  
ного значения. Иными словами, можете говорить что вам  
угодно, никто не станет обращать на ваши слова внимания”.

Затем адвокат наклонился ко мне и шепнул на ухо: “Про-  
фессор страшно заинтересовался вашим случаем”. У меня по  
телу пробежала горячая волна, слезы признательности вы-  
ступили на глазах. Я еле смогла прошептать адвокату: “Пере-  
дайте профессору, что наши чувства взаимны”.

Потом господа покинули меня, и я, уже не сдерживаясь,  
дала волю слезам. (Пауза. Наливает воображаемый чай в вообра-  
жаемые чашки.)

Ну, как вам эта история, господин следователь? Она не  
щекочет ваше самолюбие? Не преисполняет вас сладкой бо-  
лью побежденного? Хитрый лис оказался этот адвокат, не  
так ли? И как хитро все закрутил: с одной стороны, имею пра-  
во молчать, а с другой — что бы я ни сказала, не имеет значе-  
ния.

Как вы побледнели, мой мальчик! Как запали ваши щеки!

Вы непременно должны когда-нибудь пожаловать ко мне в  
гости! И я угощу вас первоклассным церемониальным чаем.  
Самым крепким. Не этими помоями, которые принес назна-  
ченный защитник. После первой чашечки вы почувствуете  
себя слегка опьяневшим. Мир закружится у вас перед глаза-  
ми. Вы увидите вещи, никем до вас не виданные. После вто-  
рой чашечки вы уже никогда не будете прежним\* А после  
третьей впадете в забвение, страшно напоминающее смерть,  
но безболезненное. Вы почувствуете лишь удовольствие и

просветление, которое следует за ним.

Уверяю вас, господин следователь, стоит пережить все это

со мной. А теперь я с радостью подпишу вам все, что вы пожелаете,

но советую вам сохранить свое произведение с моей под-

писью внизу, хотя оно довольно топорное. В один прекрасный

день вы сможете продать его за хорошие деньги. Сможете, так

сказать, его осеребрить. Ибо, как мне калюется, вряд ли когда-

нибудь вы научитесь проигрывать. Поэтому пусть хоть деньги послужат вам скромным, но все же весомым утешением.

Вы не принесли его с собой? Но почему?

Я все это время, пока сижу здесь и размышляю, постепен­но теряя рассудок, который мне уже и не очень нужен, раз­мышляю, даже когда терплю истязания палачей, инструкти­рованных лично вами, успокаиваю себя, думая о том, что вы сейчас пишете и насколько вы уже преуспели. И что мои страдания не только забавляют вас, но и приносят какую-то пользу. А получается, что вы только и ждете подходящего по­вода, чтобы отказаться от этого дела.

Вероятно, я была к вам чересчур строга, и вы этого не заслу­живали. Но и вас трудно назвать прилежным учеником. И по­скольку вы искали легких путей, адвокат в конце концов пере­играл вас. Он так легко и просто обвел вас вокруг пальца, что вам теперь не остается ничего другого, кроме как восхититься его действиями. И это притом, что я была на вашей стороне.

Что же вы теперь будете делать, господин следователь? Где найдете другого подозреваемого? Никто, кроме меня и Мисимы, не прикасался к этому мечу. Никто другой не держал его в руках. Его уже нет в живых, скоро и я вас покину. А что будете делать вы? Что от вас останется? Печальная безутешная тень, распростертая на полу этой камеры. Неужели, господин следо­ватель, вы хотите, чтобы я запомнила вас именно таким, как сейчас? Не становитесь сентиментальным. Берите пример с него — благо пример совсем свежий. Бойтесь, сколько вам угодно, но не сходите с предначертанного вам пути. И не забы­вайте, что каждый раз, когда перед вами возникает выбор ме­жду жизнью и смертью, верное решение — смерть. Не пренеб­регайте этим древним правилом самурая. Не важно, что ваш прапрапрадед, скорее всего, был простым торговцем рыбой на рынке.

Да и Мисима был просто писателем, который слишком много о себе возомнил. Вот только у писателя есть то преиму­щество, что, когда он что-то долго и настойчиво представля­ет в своем воображении, это постепенно становится реаль­ностью. И в конце даже выдуманная боль становится настоящей, не говоря уж о выдуманном счастье.

А что тогда говорить о нас с вами, обычных людях, кото­рым незачем что-либо воображать. Эта неспособность выби­вает нас из колеи. Доводит до безумия. Как животных в зоо­парке нехватка свободы. Они не умеют медитировать, не способны на философские прозрения. Не могут отделить дух от тела. Они лишь хотят быть такими, какими созданы. Поль­зуются своим неотъемлемым правом на молчание.

Мисима тоже научился молчать. И это он, который гово­рил так много, что уже начинало надоедать. Порой в потоке его слов ощущалось какое-то страшное молчание, которое вглядывалось в тебя, прищурив глаза, со страниц его книг.

Если вам, господин следователь, когда-нибудь доведется раскрыть одну из этих книг, особенно из последних, уверена, что это молчание все еще будет там.

Но вряд ли доведется. Просто вы с ним слишком похожи. Не хотите узнавать, хотите жить. Но не знаете как. Голоса ва­ших собственных желаний заглушают вас, вы готовы отре­зать себе голову, лишь бы заставить их замолчать. У вас все есть, но вам всего не хватает. Река сочинительства, река теат­ра, река тела и река действия пересыхают одна за другой. Их заливает река крови, но потом пересыхает и она. Вам кажет­ся, что наступает конец света. А если вы достаточно умны, то уже поняли, что конец света может быть воспринят только лично. И могут быть только личные причины хотеть стать ге­роем. Поэтому вы создаете соответствующие обстоятельст­ва. Режиссируете собственный театр, шьете костюмы, оформляете сцену, выбираете действующих лиц, пишете им реплики и приглашаете публику.

Если человек не гениален, то все это выглядит жалко, по­верьте. А если все-таки гениален, то ему удается сыграть глав­ную роль до того, как мизансцена с треском провалится и по­гребет его под своими обломками.

Конец света наступил, господин следователь. Я была там, видела его своими глазами и даже участвовала в нем. Но ни на миг не допустила, что это может быть и мой конец. (Пауза.)

Я держала меч, только и всего. В полном молчании. Без единой реплики. Почему, спросите вы? Потому что так ре­шил Мисима. (Смеется.)

В сущности, я мечтаю прочитать вашу историю. Чтобы посмотреть на себя вашими глазами, которые даже сейчас, в такой момент горят мрачным возбуждением, вызывая у меня оторопь. И то, что вы мне ее не даете, возбуждает меня еще больше. (Медленно ложится на пол.)

Знаете ли вы, как я красива — там, при дневном свете. Ес­ли вы увидите меня, озаренную хоть одним лучом солнца, вы не сможете не пожелать меня. Мое тело словно вырезано из слоновой кости. Все в нем деликатно и соразмерно. И каждая его клеточка подобна весеннему цветку, раскрывающемуся для жизни. Оно мягкое и сильное, хрупкое и гибкое. А кожа! Вы никогда не прикасались к такой коже. Она наполнит ваше сердце нежностью и доведет вас до слез. Заставит забыть о том, что вы человеческое существо. Моя кожа, господин еле-

дователь, благоухает материнским молоком, которым мате­ри кормят своих сыновей, когда те приходят в этот мир. Да­же если вы прикоснетесь к ней губами один-единственный раз, вам хватит этого на всю жизнь.

А мое лицо! Вряд ли вы видели подобные лица. Это лицо бо­жества, которое предается отдыху после того, как создало все самое прекрасное и самое страшное во Вселенной. Оно бле­стит подобно звезде — холодной и совершенной снаружи, но раскаленной, как лава, внутри адским пламенем сотворения.

А волосы! Чтобы их описать, слов просто не хватает. В сравнении с ними ночь не темнее летнего полдня. Они чер­ны, как грех, и блестящи, как смерть героя. Увидев мои воло­сы, вы просто потеряете рассудок и пожелаете, чтобы вас ими удушили. (Смеется.)

Не знаю, как еще вам это сказать. Не знаю, как намекнуть, что при других обстоятельствах я не пожалела бы жизни, чтобы заняться с вами любовью, господин следователь.

* \* \*

Та же обстановка. Раннее утро. Все еще сумеречно, но посте­пенно светает.

Мадам Мисима сидит у сундука на помойном ведре с фанер­кой и медленно переставляет на нем свои туалетные принадлеж­ности и косметику. На ней то же кимоно, что и в предыдущей сцене.

По радио гремит знакомая жизнерадостная музыка для побуд­ки. Углубившись в свое занятие, мадам Мисима сидит непод­вижно.

Постепенно музыка стихает. В замке поворачивается ключ, по­том раздается скрип тяжелой двери. Кто-то входит в камеру. Мадам Мисима говорит, не оборачиваясь.

Не предполагала, что мы с вами еще увидимся. Адвокат ска­зал мне, что вас отстранили от дела. (Пауза.) Он о вас очень высокого мнения. Просил меня, чтобы я передала вам — не воспринимайте его как своего личного врага. Сказал, что был бы весьма рад, если бы вы приняли его приглашение на ужин. Весьма благородно с его стороны, вы не находите? Но я сказала ему, что, скорее всего, вы не примете его приглаше­ния. (Пауза.)

Ладно, хватит грустить. Да мы с вами вполне еще можем ко­гда-нибудь увидеться. Я слышала, что там, куда меня перево­дят, разрешены посещения. Нет? Значит, не придете... Ну что ж, может, так оно и лучше. Тогда простимся здесь и сейчас, без церемоний. Посмотрим в глаза друг другу и пожмем руки.

Как это романтично. И как типично для вас, господин сле­дователь. Но я знаю, о чем вы думаете. Вы убеждены, что не

назначенный адвокат, а я — ваш настоящий враг. Чувствуете себя побежденным и низвергнутым, потому что начальство устроило вам разнос и отстранило от дела.

Вы предполагали, что я буду покорной и безропотной, как ваша супруга. И буду готова отдать жизнь, лишь бы не посра­мить вас. Но я к этому не готова, господин следователь. Не за­бывайте, что эти руки держали меч. И воспользовались им. Кроме того, делать из мухи слона — признак незрелости. Сей­час другие времена. Если мелкое служебное недоразумение на­столько выбивает вас из колеи, как вы сможете доказать своему начальству, что впредь оно все же может на вас рассчитывать?

A-а, говорите, вы собрали доказательства. Ну что ж, это уже кое-что. Может, это значит, что вопреки всему вы все же стали мудрее. Может, вопреки всему, вы не будете меня вечно ненавидеть, как ненавидите сейчас. Но если вам легче нена­видеть меня, чем себя, — пожалуйста, продолжайте. Я ничего не имею против. Я сделала бы для вас все, потому что я ваша должница. Да и вы уж точно последний мужчина, который не оставил меня равнодушной, и это не просто извращенное лю­бопытство. (Поворачивается.) Хотите, чтобы я оказала вам по­следнюю услугу?

Надеюсь, вы не собираетесь мне исповедаться. Впрочем, даже если так, — я готова, разумеется. Вот только поторопи­тесь, мне здесь недолго осталось.

Стать вашей кайсаку? Сейчас? Вы даже написали свое предсмертное танка? Нет-нет, не показывайте. Меня это во­обще не интересует. (Смеется.)

Вы ведь это не серьезно, не так ли? Ведь я не палач, госпо­дин следователь. Да и признаться, ваше неумение проигры­вать в известной степени меня отталкивает. А уж просить ме­ня помочь превратить ваше поражение в полный провал — благодарю покорно.

С другой стороны, не удивлюсь, если вы приготовили мне западню. В первый раз вам это не удалось, но, если вы умеете извлекать уроки из своих поражений, во второй раз должно получиться. Вы хотите, чтоб меня непременно осудили. Хо­тите знать наверняка, что мне от вас не улизнуть. И в то же время хотите реабилитировать свою профессиональную честь, пусть даже посмертно.

Как же мне это раньше не пришло в голову? Вы должны были сказать мне гораздо раньше. Тогда, может, я и подписа­ла бы эту вашу глупую писанину. Но теперь... (Пауза.)

А если я откажусь? Не только из моральных, но и из прак­тических соображений. Например, из-за того, что не распо­лагаю профессиональным инструментом. Меч Мисимы вы

лично у меня конфисковали. Могу лишь предложить перере­зать вам горло осколком зеркала, которым я пользуюсь, наво­дя красоту, но вряд ли вам это понравится.

Мечом мне, как вам известно, приходилось пользоваться. А вот насчет зеркала не могу вам дать никаких гарантий.

Понимаю. Вы принесли с собой кинжал. И хотите лишь, чтобы я смотрела. Не разубеждала вас, а только смотрела. А с чего вы взяли, что я собираюсь вас разубеждать? Я ведь ска­зала, что у меня совершенно не осталось времени.

А вата? Ватой вы запаслись? Браво. Все-таки кое-чему я вас научила. Нет, показывать не надо. Я вам верю. (Смеется.)

Но имейте в виду — это самая безболезненная часть про­цедуры. Остальное не для людей со слабыми нервами. Вы бу­дете мучиться, а я ничего не смогу сделать, чтобы облегчить ваши страдания. (Пауза. Отворачивается к степе. Берет зеркало. Освежает свой грим.)

Дайте мне свою рубаху. Если хотите, я могу передать ее ва­шей супруге. Как вам будет угодно. А теперь опуститесь на ко­лени — спина прямая. Постарайтесь дышать спокойно. Со­средоточьтесь. И самое главное — расслабьте мышцы брюшного пресса. Расслабьтесь как следует. С первого раза может не получиться. Постарайтесь. Иначе вы сами себе бу­дете оказывать сопротивление, а это лишь продлит ваши страдания. Будет очень больно, господин следователь. Вы да­же не представляете себе, как будет больно.

Слышен шум подъезжающей машины. Пауза. Мадам Мисима прислушивается. Тишина.

Думаю, это за мной. Мне пора.

(Громче.) Какой рукой вы пишете, господин следователь? Левой или правой? В таком случае, начните слева. И не оста­навливайтесь, пока не доведете дело до конца. Боль может сыграть с вами злую шутку. И если вы вообще сможете ду­мать, пока будете это делать, думайте о том, что будет потом. А не о том, что происходит сейчас. (Пауза.)

В добрый час, господин следователь.

Собирает туалетные принадлежности с сундука и ссыпает их се­бе в подол. Прихватив подол, поднимается и поворачивается. Кричит.

Стоит в оцепенении. Потом идет к нарам, высыпает на них туа­летные принадлежности. Достает из-под нар чемодан, кладет на нары и открывает. Достает из чемодана белую парадную уни­форму. Развязывает оби и снимает кимоно — верхнее и нижнее. Аккуратно складывает их. Остается в одних трусах. Перед нами снова мужчина. На его животе виден багровый поперечный

шрам через весь живот. Мужчина, не торопясь, 'надевает белую парадную форму. Сначала брюки, затем китель на голое тело. Затягивает ремень. Вынимает начищенные до блеска черные ботинки и обувает их. Берет из кучи туалетных принадлежно­стей коробку с кремом, открывает ее и густо намазывает лицо. Снимает грим.

Надевает на голову фуражку. Складывает в чемодан кимоно и туалетные принадлежности. Закрывает крышку. Достает из-под нар самурайский меч в ножнах. Подпоясывается ремнем, при­крепив к нему меч в ножнах. Берет чемодан и направляется к двери. Делает несколько шагов и останавливается у того места, где, как мы предполагаем, лежит тело следователя. Вынимает из ножен меч и отдает честь мечом.

Опускает меч в ножны и идет дальше.

Слышен звук удаляющихся шагов, скрип тяжелой двери.

Из радиоточки внезапно оглушительно звучит японский воен­ный марш, но после первых тактов раздается скрип, и музыка прерывается.

Постепенно гаснет свет.